*Михаил Письменный*

# Парламент Солженицын

Жизнь Александра Исаевича Солженицына преподала нам уроки, которые долго еще придется усваивать. Он не прочитан у нас, не оценен, не понят в полную меру. Слова его боялись. Его похвалы искали. Но не любили этого человека. Он был неудобен. Не вел себя правильно. Ни для стаи, ни для команды не годился и всем мешал. Поскольку выбивался из рамок, его назвали великим — и гуди себе в небесах! Не переделывать же ради него себя! Мы слабости свои любим. Недостатки лелеем. А Солженицын хотел в нас видеть народ, который не гость, не наемник, не раб в родной стране, но хозяин. Он хотел нас видеть послушными воле Бога, а не прихотям вертухаев страны. Хлопал нас книгой по пояснице: разгибайтесь, ребята! Кто ж ему такое простит?

Как только на Руси появился парламент, литература перестала его заменять. Андрей Битов сказал: литература должна развлекать — и пошел накрапывать на пустозвучия капли смысла. А Солженицын не сложил с себя парламентских полномочий. Он пошел в Думу обтолковывать обустройство страны.

Сошлись два парламента: Солженицын и Дума. Думцы его не ошикали. Его обхихикали. Ведь и вправду смешно. Избранники напряженно думали о себе, а он — о народе. Он звал обустраивать Россию, а им бы поскорее продать ее недра и скупить лазурные берега Франции.

К нему стали пристраиваться писатели из национального лагеря, но то ли он не пошел к ним в знамена, то ли им помешала его внестадность и полное отсутствие их стилевого знака, их пионерского галстука, — слащавого национального сюсюканья... Известно, что Солженицын дружил с Распутиным, но дочь Ивана, мать Ивана, которая взяла ружье и отправилась мстить, вряд ли могла быть дочерью Ивана Денисовича. Между ними явная гуманистическая нестыковка. Только Бог решает — жить преступнику или умереть. Добро с кулаками — это добро раба. Мстителен только раб. Свободный человек не может быть мстителен, ибо подчинен не людям, а Высшей силе. Иван Денисович — свободный человек в оковах, а герои национально страдающих — потомки человека с ружьем, изображенного у Николая Погодина.

История нашей литературы второй половины двадцатого века пишется вокруг Солженицына.

Юрий Левитанский когда-то мне говорил — он бы на лицо свое пал перед Солженицыным, но народ за ним не пошел. На призыв жить не по лжи никто не откликнулся. Тяжела оказалась ноша. Не потянули.

Солженицына изгнали, но на вытоптанное им в обществе место нужно было выставить кого-то другого. Кремлевские мыслители хотели заместить его Шукшиным, но тот умер. Тогда вывели на литературное поле Астафьева. Дали ему Ленинскую премию и стали тыкать им в глаза мальчиков из «Метрополя», тех, которые собрались вокруг Аксенова. Сидите, мол, тихо! Все, что вы пишете, уже написал Астафьев в «Царь-рыбе», а мы его наградили.

Но Астафьев не оказался ручным. Его моральная чистота и честность достойна высочайших оценок. За нежизнь не по лжи он свой народ безжалостно презирал. Этим презрением и ценен. Правда, кажется, не совсем понимал, что ради соответствия его моральной высоте нужно убрать куда-нибудь полнарода.

Солженицын отозвался об Астафьеве как о писателе, который до конца выявил солдатскую правду, правду простого солдата. И ничего более не сказал.

С легкой руки Солженицына Запад зовет Евтушенко классиком. Евтушенко первым отважился говорить о Сталине правду. Явился мальчик-поэт и всех перебудил.

Евтушенко и Вознесенский строили мосты от гуманизма к советской действительности, прилаживали к социализму человеческое лицо. Левитанский знал, что мостов этих быть не может. А Солженицын уже «вышел на площадь». Солженицын сдвигал общественное сознание. Левитанский не находил в себе сил для борьбы. Она была ему противна по сути. Всякое насилие было в нем под запретом. В этом и была его интеллигентность. Левитанский противостоял системе насилия, но только противостоял, мучаясь и мешая насилию своим присутствием.

Кто тут прав? Кто честнее? Солженицын старше Левитанского на пять лет, но не на поколение. Оба прошли войну, но Левитанский не прошел тюрьмы. Значительное время они были по разные стороны решетки и, верно, не поняли бы друг друга в те времена. Да и ни в какие, пожалуй, времена они бы друг друга не поняли до конца. Решетка разделила их навсегда — военное поколение русских литераторов и Солженицына. Первым действительность скупо, но давала, а у Солженицыных только отнимала. И сегодняшняя действительность туго пускает в себя Солженицына. Мы сбегаем с его уроков. Мы так и не повинились перед невинно убиенными, а значит, не прощены ими, а это, в свою очередь, значит, что перед будущим мы стоим, не вступаем в него. Нас еще держит прошлое.

Десять лет назад, в дни празднования восьмидесятилетнего юбилея Солженицына было два телефильма — Сокурова и Парфенова.

Сокуров в свойственной ему манере показывал губу, глаз, очки, чистые половицы кабинета, как собственными руками великий писатель передвигает стол с телевизором. Солженицын говорит когда-то сказанное. Чувствуется, как он закрыт и как все продумано, что хочет он показать. Дом пуст и убран, выглядит нежилым. Словно все, чем живут, вынесли прочь и спрятали.

У Парфенова все поживей. Привлечены архивы. Претензий на художество нет. Чистая журналистская работа. Но и тут чувствуется рука жесткого режиссера — Александра Исаевича. Он сам создает ситуацию. Сам решает, что мне, зрителю, видеть и как.

Оно бы и ничего. Его право. Но за всем этим — недоверие как следствие многих травлей. Он все скрывает, чтобы не поняли превратно, а люди понимают превратно, потому что видна скрытость.

Например, Парфенов просит Наталью Дмитриевну рассказать, как проводит день Александр Исаевич.

Лица Парфенова не видно. Только голос. Поэтому Наталья Дмитриевна обращается не к Парфенову, а к зрителю.

— Встает рано, — начала было. Потом подумала и усмехнулась недоверчиво. — Нет, не буду говорить.

Ясно, что Александр Исаевич встает рано и молится. Это весь мир знает. Но зачем же это скрывать? Разве можно стесняться высокого дела молитвы? Подобное недоверие породило множество подозрений, чаще всего необоснованных.

Вечный зэк, он тогда отмочил штуку! Перед празднованием письмом предупредил президента, что не примет награду. И не принял Андрея Первозванного. Мол, от власти, которая довела страну до такого состояния, он награду принять не может. Но стоило ли так — Ельцина? Ведь не власть — народ наградил вечно гонимого писателя своего. Мол, хватит зэком быть! Помоги! Тяпни по медным лбам! Будь ближе, пиши проще! Ты ведь опытен и знаешь — даже Божьи слова не сразу доходят. Две тысячи лет прошло со времен Христа, а живем ли по Слову? А ты — человек.

Нобель динамит изобрел, которым убили море народу, но его награда возвышает, а от Ельцина — унижает?

Ему, конечно, видней, да и всегда он оказывался умнее и дальновиднее тех, кто брался его судить.

Он молчал, когда говорили в глаза: вы великий!

Конечно, трудно что-либо на это ответить, но невольно вспоминается заочная беседа Льва с Иваном.

Иван: Вы великий писатель земли русской.

Лев: А почему не воды?

Всякое величие в народе — отражение народной ущербности. Никто не велик сам по себе, но только за счет чьей-то малости. И опять же вечный пример: разве Христос велик?

Не идет из головы женщина-машинистка, которая удавилась, не выдержав в КГБ допроса и выдав место, где спрятана рукопись «Архипелага». Легла в основание величия, почти безымянная.

Но... «Где ты был, когда Я полагал основания Земли?» — спросил Бог Иова, когда тот вздумал рядиться с Ним. Взглянем-ка на себя! Парламент по имени Солженицын требует исповедальности. Говорить об этом писателе, не оглянувшись на себя, значит лгать. Жил ли я не по лжи? И что бы стало, пойди я по его моральной линейке? Ведь в самую точку врезал писатель, в то самое место, где личность «я» сочленяется с телом «народ». Как бы все задышало, если бы мы все вдруг выправились по правде!

Университет я оканчивал в Братиславе, в Словакии. В 1974 году, в день когда Верховный Совет изгнал Солженицына из России, я был в Лейпциге и увидел по западногерманскому телевидению, как он прибыл в Бонн, как говорил по-немецки, а потом перешел на русский, как его встретил Генрих Белль. По радио накануне передавали интервью с Беллем, в котором впервые я услышал слова «Архипелаг ГУЛАГ». Белль говорил, как потрясен он огромностью книги и подробно о ней рассказывал. Когда я вернулся в Братиславу, в студенческое общежитие, мои югославские друзья дали сербский журнал «НИН», полный статей о нашем русском изгнаннике.

В консульстве был прием-собрание всех советских, оказавшихся в то время в Братиславе. Генконсул М.М.Деев часто всех собирал. Один профессор из МГУ поделился со мной, мол, хорошо тут, в Братиславе, книгу писать. Языка не знаешь, ничего не понимаешь, словно выпал из современности в вечность, и пиши себе о вечном.

— О ком же пишете?

— О Белле. Какой писатель!

— В стол?

— Почему в стол?

— О Белле теперь долго доброго слова не напечатают.

— Почему? — встревожился профессор.

Он настолько выпал из современности, что ничего не слышал об изгнании Солженицына. Я стал рассказывать. Вокруг нас собралась толпа. Деев подошел. Все внимательно слушали, что сказал Белль, что говорил Солженицын, что спрашивали журналисты...

— Миша, не мог бы ты завтра то же самое рассказать работникам консульства? — попросил Деев. — Люди задают нам вопросы, а мы ничего не знаем.

К одиннадцати часам все работники сидели в кинозале. Но Деева не было. Уехал куда-то по делам. Замещал его А-ров. Я сел на председательское место и минут сорок излагал события, никак не комментируя. Когда я закончил, А-ров сказал:

— Жаль — выпустили. Отправить бы этого писаку в тюрьму! Или в тайгу куда-нибудь. Дать ему велосипед и выделить квадратный километр — пусть мечется.

— Тогда ждите новой революции, — сорвалось у меня.

— Какой? — вскочил А-ров.

— Демократической, — разобрала меня злость.

— Кто же ее будет делать? — возвысился голос.

— Все порядочные люди, среди которых, надеюсь, будете и вы.

— Вот вам и свобода! — сказал А-ров. — Допрыгались.

А-ров ушел, и остальные разбежались без слова.

Утром следующего дня зовут меня в общежитии к телефону.

Сухой голос потребовал:

— Немедленно явитесь к Генеральному консулу!

Я даже не узнал, кто говорит, словно в консульстве за ночь все поменялось.

Когда я туда явился, никто со мной не поздоровался. Уборщица прошла, даже не взглянув, а я и чаи у нее распивал, и брюки она мне зашивала, добрая женщина.

«Плохи мои дела», — думаю.

Вхожу в кабинет Генерального консула. Он встал навстречу. Руки не подает. Говорит «вы».

— Что вы там вчера болтали о революции? Я о чем просил? Рассказать факты. А вы?

«Ну, думаю, Богу — богово, гаду — гадово. Мне учиться осталось полгода. Не дадут доучиться, если не вывернусь. У меня отец — осмотрщик вагонов. За меня постоять некому».

— Михаил Михайлович, — говорю, — я всего только и делал, что защищал от А-рова решение Верховного Совета. Как его не одернуть, если он поставил под сомнение решение главного органа страны.

Умный Деев все понял. Он засмеялся и подал мне руку.

— Верховного Совета? Я думаю, ты правильно поступил.

Стыдно ли мне теперь вспоминать такое? Наверное, стыдно. Но в то же время...

Сейчас все чаще стали говорить, что Солженицын свалил коммунизм. Он сдвинул сознание, но ничего бы он не сделал, не будь ухмылистых и ужимистых врунов во славу Божию, присутствие которых не давало А-ровым в своем коммунистическом усердии разгуляться. Да и А-ров уже не был стальным гвоздем. Просто выслужиться хотел, а сам тоже все понимал. И низость свою понимал. Но горем она для него не была.

Наталья Дмитриевна сказала, что Солженицын «говорил тогда, когда все молчали». Не совсем так. Солженицын был громче всех. Он говорил публично, когда другие шептались по кухням. Каждый говорил по-своему, как мог. И Твардовский тоже. Не надо было его так по-зэковски беспощадно размазывать в «Теленке». Обидно за него. Он тоже человек и слаб. И надо его пожалеть. Говорили все столько, насколько позволяла власть. Да и от Солженицына мы услышали не более того, что дали послушать. Хрущев разрешил... кто-то непрочно заглушил «голоса»... и не всегда по безалаберности. А кто все это сделал? Мы все. Мы, вруны. Половинчатые люди. Да и то же КГБ. Там тоже были люди, которые не дали А-ровым развернуться в полную силу.

Но русская власть от разговоров не падает. Умей социализм обеспечить экономический рост, врать бы нам по сей день.

Солженицын — дотошный бытописатель. В этом его необоримая сила. Он мечту Гоголя воплотил — сплошняком фиксировать бытие. Не будь этой дотошности, натуральности, фотографичности его прозы, не был бы столь мощен «Архипелаг ГУЛАГ» — главная его доблесть. Солженицына часто упрекают, что публицист в нем сильнее художника. Некоторые вообще договариваются до того, что он не художник. Согласиться с этим нельзя. Эти упреки предвзяты и подловаты. Так говорят, когда хотят мазнуть, забрызгать грязью. Но правдам, которые он говорил, иногда и не нужно никакое художество. Ведь и Библия стыдится художества. Сила правды в ней так велика и чиста, что всякое изобретательство в слове, всякое украшение правды оскорбляет ее, унижает. Если украшают — хотят обмануть. Страшновато все это писать, но великое измеряют высочайшими мерками. Солженицын велик тем, что вынес из огня, сохранил и бросил нам в лицо дыхание ужаса, крики боли, стенания отчаяния. Диву даешься, как он сам не сгорел в этом внутреннем пламени. Из каких огнеупоров сложен! Какие страшные смыслы выхлестывала его душа! Вплоть до старости, когда и сил уже не было на порывы, он выглядел так, словно только что вырвался на свободу. Дерганый взгляд, взмывающий голос, быстрая речь — лишь бы успеть прокричать, пока жив, пока пуля не долетела до лба.

Зэковскую основу он в себе не преодолел. Да и смел ли, хотел ли преодолевать?

Зэк — сам по себе. Он бежит и не смотрит на павших по сторонам, иначе не спасется. Зэк берет на себя жизненную повинность павших и должен эту повинность выполнить. В нем не особная личность, но соборная модальность. Он камень, брошенный многими руками. И обязан не нам, живущим, но им, погибшим, им, не выпущенным в жизнь, он обязан голосом, значением своим и величием. Солженицын — не наш писатель. Он — не для нас. Он — для них. Он — не Сахаров, который делал бомбу, боролся за крымских татар и собирался сливаться с Америкой. Солженицын бомбу, как все мы делали, не делал. С Америкой конвергироваться, как все мы хотели, не хотел. Он близок нам и понятен ровно настолько, насколько мы способны принять близость убитых лагерями людей. Но мы не только бомбу делали. Среди нас, а значит и в нас, живут еще палачи — те, которые гнали в лагеря и убивали, те,

которые и по сей день ищут себе хозяина в родной стране. И вот этой частью своей мы не понимаем и не можем понять Солженицына.

Вот каков этот человек. Влез в каждого и встал торчком. Неудобен. Но это неудобство — знак будущего нашего роста. Шевельнувшийся росток так же неудобен зерну.

Наших интеллигентов Солженицын назвал образованцами. Интеллигенция надула губы. Обиделась. Иные делали вид, что не о них сказано. Но...

Однажды, рассуждая о Трифонове, Лев Аннинский отметил тесную связь русского крестьянства с интеллигенцией. И в самом деле, связь эта настолько крепка, настолько взаимообусловлены эти два класса в России, что можно, кажется, рассматривать их вместе как целое. Даже их история видится синхронной — начало освобождения от крепостного рабства и возникновение русской интеллигенции, которая исчезает теперь вместе с крестьянством. Набравшись смелости упрощать сложное, можно даже сказать, что интеллигенция только и была выразительницей крестьянства, ничем другим более.

Аннинский утверждает, что Трифонов был последним, кто показал ее разорение. Спорить тут нечего, но жаль, что в анализе не учтен Солженицын. Никто, как он, не описал разорение русского интеллигента в двадцатом веке, которое рука об руку шло с раскулачиванием и колхозным строительством. Солженицын показал нам весь путь интеллигента — от гордой питерской Думы до состояния, когда «Как пескари, шипя в сметане, / Кастрюльный хвалим свой уют: / Ах, очень вкусно пахнет нами / В кремлевской кухне острых блюд». (Это из ненапечатанной поэмы «Колыма» лагерного поэта Бориса Дьякова.) Поэтому слово «образованцы» — не ругательство, а результат глубокого исследования. Формула мысли. В этом слове больше боли, чем издевательства.

Солженицын и сам особенным образом зависит от крестьянства — истинно как русский интеллигент. Отсюда головокружительно глубокий колодец «Матренина двора», в который страшно заглядывать — такие в нем неподъемные смыслы. Убивая дугу — крестьянин-интеллигент, социализм убивал становую идею, то главное русское, которое давало нам право так называться.

Солженицын спасся в лагере крестьянской верой в Господа Бога. Отсюда пугающая твердость моральных устоев у него, к которой только тянулся вечно мучимый сомнениями Трифонов.

Сегодня уже почти не стало крестьян — носителей национального духа, интеллигенция переродилась в образованцев. Потому нет и морали. Мы становимся американцами — пришлыми людьми, которым ничего не жалко. От русского у нас остался только язык да православие, которое успешно формируется сейчас в священноначиновничество.

Но зато у нас есть писатель Сорокин, а также писатель Пелевин, которые, пожалуй, крепче всех не любят Солженицына. А может быть, зря? Ведь тот мир, в котором видит себя сегодняшнее студенчество, их читатель, — мир без государственных образований — он виртуален. Он еще не вылупился из мониторов компьютеров. В том мире неопасно и интересно, но реальные пути туда пока не ведут. Там всего лишь мираж, игра, «перец и мак вместо хлеба насущного».

Мы должны усвоить уроки Солженицына. Иначе совершим ту же ошибку, какую совершили наши предки в девятнадцатом веке, которые не услышали предостережения Достоевского, и студенты с топорами ломанулись сквозь собственный народ к видению чудесного сада.

Пора научиться сочетать прогресс с разумом, а не почитать мираж смыслом жизни.

Сегодня, когда главный вопрос — расформировать нам Россию, переменив в мировое удобрение, или сформировать, наконец, как человеколюбивое государство, чтобы войти в мир целостным живым организмом, — становится явной огромная роль явления Солженицына. Он никак не сополагается со стремлением «расформировать». Всей мощью трагичной фигуры своей он держит Россию. Она — его Евангелие, и он, наверно, — тот единственный путь, который сегодня нам остается. Пусть этот путь попахивает консерватизмом, пусть он означает возврат к старым ценностям, но это — проверенные Россией ценности.